Марина Ветрова ✦ Анна Сорока



Измена мужа.

Ты превратил няню нашего сына в шпионку, а другой мужчина спас нас!

Анна Сорока

Измена мужа. Ты превратил няню нашего сына в шпионку, а другой мужчина спас нас!

«Автор»
2026

Сорока А.

Измена мужа. Ты превратил няню нашего сына в шпионку, а другой мужчина спас нас! / А. Сорока — «Автор», 2026

Восемь лет я считала дворец своим домом. Пока не нашла в архиве донесения няни моего сына. Каждая моя слеза, каждый разговор с матерью, каждый шаг становились докладом свекрови.Муж молчал, пока его семья готовила документы, способные лишить меня брака, дома и ребёнка. Я была удобной женой, которую решили вычеркнуть.Но Бахтияр, могущественный глава дворцового протокола, предложил защиту и открыл мне глаза на тайные счета семьи.Теперь против меня интриги, подделанные бумаги и люди, привыкшие покупать чужие судьбы.Я должна спасти сына и вернуть себе имя.Только почему опасный мужчина дворца смотрит на меня так, будто готов потерять всё ради любви?

© Сорока А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Шифр на моё имя 5
Глава 2. Тихая, как весь брак 7
Глава 3. Жена по бумагам 9
Глава 4. Двери закрываются 11
Глава 5. Человек, у которого все ключи 13
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Марина Ветрова, Анна Сорока
Измена мужа. Ты превратил няню нашего сына в шпионку, а другой мужчина спас нас!

Глава 1. Шифр на моё имя

Запах старой бумаги — пыль, кедр и чуть-чуть сандала от шкафов — восемь лет был моим родным запахом. Другие жёны наследников просыпались от шёпота фонтанов во внутреннем дворике. Я просыпалась от мысли о несшитой пачке документов в третьем шкафу архива дворцового холдинга.

Меня зовут Злата. Двадцать девять лет, из которых восемь я — жена Тарика ибн Саида, наследника дворцовой ветви холдинга. И все восемь лет — переводчица дворцовых архивов. Русская девочка с филологическим дипломом, которую когда-то привезли сюда переводить старые торговые книги, а потом... потом случился Тарик, случился свадебный шатёр, случился сын. Документы остались. Муж, как выяснилось, тоже остался — чем-то вроде документа.

В то утро я сидела в нижнем зале архива, где даже летом прохладно, и расшифровывала связку записей, которую протокол передал мне с грифом «внутренняя переписка, рукописное, шифр семейный». Шифр был простой, женский, старый: замена по первым буквам строк детской песенки. Я такие вскрываю за час. Расшифровала первую страницу — и рука сама потянулась к стакану воды, хотя пить не хотелось. Просто нужно было чем-то занять пальцы.

Это были донесения. На меня.

«Русская снова ссорилась с господином из-за обеда с советом. Господин поднял голос. Она плакала на террасе сорок минут, потом пила чай с бергамотом».

Дата — три года назад. Я помнила тот вечер. Помнила террасу, помнила бергамот. Нас было двое на той террасе: я и... я замерла.

«Русская звонила матери в Москву по вторникам, говорила о деньгах на квартиру тётке. Сумма названа — переведена через знакомого менялы».

Вторники. Я и правда звонила маме по вторникам, после чая, когда Марьём уводила Али на прогулку и терраса пустела. Я думала — пустела.

Марьём. Няня моего сына. Пятьдесят шесть лет, воспитанница моей свекрови, восемь лет за нашим столом — с самой моей свадьбы. Марьём, которая знала, сколько ложек сахара я кладу в чай, — две с половиной, и всегда говорила: «Слишком сладко, госпожа, зубы пожалеете». Марьём, которая гладила рубашки Тарика так, что ни одна прачечная дворца не могла так.

Я перечитала донесение. Почерк в расшифрованной копии был переписан рукой архивариуса — не её. Но обороты. Обороты были её. «Госпожа опять не доела фаршированные перцы — обиделась». Кто во дворце знал, что я обижаюсь именно на перцы и именно молча, не доедая? Только тот, кто подавал мне тарелку. Кто сидел напротив со своим вязанием, кто говорил: «Госпожа, поешьте, вы худая как тростинка».

Я перевернула страницу. Пальцы бумагу не чувствовали, как ватные.

«Русская прячет бумаги в шкатулку с двойным дном. Шкатулка стоит в изголовье, ключ носит на цепочке с полумесяцем».

У меня похолодело между лопаток. Про шкатулку знал один человек. Я сама показала ей двойное дно пять лет назад, смеясь, — смотри, Марьём, тут мои старые письма, романтичная дура, да? Она смеялась вместе со мной. Она смеялась, а потом записывала.

И главное — шифр. Шифром этих донесений был мой собственный рабочий шифр, тот самый, под которым я числилась в реестре переводчиков. Мой личный знак стоял в углу каждой страницы, как клеймо. Если эти бумаги когда-нибудь всплывут перед советом — всплывёт моё имя. Донесения на жену наследника, подписанные её же шифром. Идеально. Холодно, аккуратно, идеально.

Я сидела очень тихо. Где-то наверху, за тремя этажами камня, звонили часы в приёмном зале. Четыре удара. Али сейчас на прогулке — Марьём повела его к каскадным прудам кормить рыбу. Моя няня ведёт моего сына по дорожке, по которой ходит восемь лет, и всё это время носила меня в памяти, как счёты: сколько обид, сколько слёз, сколько денег в разговоре с мамой.

Я потянулась к папке, которая лежала в этой же связке, — скреплённой, со свежей описью. Свежей. Бумага описи была белой, не пожелтевшей. Мне велели перевести «сопроводительное». Я перевела, ещё не понимая, что перевожу.

«Подготовка дела об аннулировании брака господина Тарика ибн Саида с госпожой Златой. Основание: отсутствие надлежащего брачного договора на текущий период, интересы наследования по ветви, опека над несовершеннолетним Али — в пользу бабушки по отцу, госпожи Рабии».

Аннулирование. Не развод — аннулирование. Как будто брака не было. Как будто Али — сын женщины, чей брак стёрли из книг, и потому его место — у бабушки, у мадам Рабии, у той самой холодной руки, которая воспитала Марьём.

Восемь лет. Восемь лет я жила в доме, где предательство ело со мной завтрак и поправляло шарф моему сыну.

Я закрыла папку. Своими руками, аккуратно, по протоколу, вернула связку в шкаф, расписалась в журнале — рука не дрожала, я не позволила ей дрожать — и поднялась наверх, в свет, в жару, в звон фонтанов.

Марьём шла мне навстречу по галерее. Вела Али за руку, в другой руке — его мячик. Увидела меня — и лицо её собралось в привычную тёплую складку, в те самые морщинки у глаз, которые я восемь лет считала добрыми.

— Госпожа, вы бледны. Опять сидели в своём подвале на голодный желудок? — Она уже тянула ко мне свободную руку, поправить мне воротник, как делала всегда. — Я велю подать вам чай. С бергамотом.

— С бергамотом, — повторила я. Голос у меня был ровный. Я сама его слушала со стороны, как перевод. — Да, Марьём. Велите.

Она улыбнулась. Али засмеялся чему-то своему, потянул её за руку к прудам. Она пошла дальше, мягкая, тихая, родная, — и я стояла в галерее и смотрела ей в спину, и думала только одно: сегодня ночью муж не придёт домой. Я это знала до того, как узнала. Просто раньше я не знала, что знаю.

Али обернулся на бегу, помахал мне обеими руками, всей пятернёй, как машут только в шесть лет, — и на одну минуту эта минута пересилила всё: подвал, шифр, папку. Одна минута. Потом она кончилась. Но я унесла её с собой — потому что именно такие минуты, поняла я, у меня никто не отнимет. Даже она.

Глава 2. Тихая, как весь брак

Часы в приёмном зале пробили одиннадцать, потом полночь, потом час. Я лежала в нашей с Тариком спальне — «нашей» уже скорее по привычке мебели — и слушала, как дворец ночью перестаёт притворяться домом. Днём он шелестит: слуги, дети, птицы. Ночью он просто стоит. Камень, который держит чужую семью, и я в ней — переводческая единица.

В два часа я перестала ждать и включила свет. На тумбочке — стакан воды, две с половиной ложки сахара в остывшем чае, который Марьём принесла в девять, посмотрев на меня внимательно: «Господин задерживается, госпожа. Совет, дела. Вы же знаете, как он занят». Знаю. Восемь лет знаю, как он занят.

Я взяла телефон. Написала мужу: «Ты где?» — и убрала телефон лицом вниз, потому что смотреть на две немые галочки не было сил. Ответ не пришёл ни через десять минут, ни через сорок.

Тогда я сделала то, что жена делает, когда уже всё поняла, но ещё позволяет себе последний шаг честности. Я позвонила его помощнику. Длинные гудки. Потом мальчишка-помощник взял трубку — и я услышала за его голосом то, что он не смог спрятать: паузу перед «здравствуйте, госпожа», вдох человека, который выбирает между двумя правдами.

— Господин Тарик остался в городе. Совещание затянулось, гостевые покои в офисном корпусе...

— В каком корпусе, Маджид? — спросила я тихо. — Точно в офисном?

Пауза. Маленькая, короткая, вежливая.

— Госпожа... я не могу сказать.

Он не мог сказать. Потому что «гостевые покои офисного корпуса» — это второй этаж, где уже несколько лет живёт Дина, секретарша Тарика. Я знала, что она живёт там. Я знала, что Тарик засиживается «с документами». Весь дворец знал. Дворец знал всё — дворец всегда знает всё, — и молчал, потому что так было удобно всем, кроме меня.

Я положила трубку раньше, чем он договорил. Села на кровати. И вот тут пришло то самое, ночное, большое, от которого ломит грудную клетку: не «он изменил». Измена — слово для вспышки. Мой муж не вспыхнул. Мой муж годами жил браком по бумагам, а я была бумагой. Меня вели аккуратным почерком. Меня подшивали в папки. Донесение: «Русская плакала сорок минут». Хоть кто-нибудь во дворце считал мои слёзы, чтобы утешить, а не чтобы записать?

Я не заплакала. Легла, укрылась, смотрела в резной потолок. Странно — горе было тёплым и тихим, как вода в ночной ванне. Оно не рвало. Оно расстилалось. Предательство жило за моим столом восемь лет и было таким же тихим, как весь мой брак.

Утром я спустилась к завтраку ровно в восемь, как всегда. Стол в семейной столовой был накрыт на четверых: я, Али, Марьём — она ела с нами с первого дня, «так заведено в этой семье, госпожа, няня за одним столом, госпожа Рабия так велит» — и приборы Тарика, которые простоят нетронутыми.

Марьём гладила в углу столовой рубашку. Его рубашку — голубую, ту, что он любит под светлый костюм. Утюг ходил мягко, пар шипел, ткань вытягивалась под её ладонью, послушная. Она делала это при мне — всегда делала при мне, каждое утро, — и я вдруг увидела это как есть: женщина гладит рубашки мужчины, который ей не муж, при жене, которая не видит. Восемь лет одно и то же движение. Ткань послушная. Я тоже была тканью.

— Господин звонил? — спросила она, не поворачиваясь, тоном «я вся — забота». — Утренний костюм я ему приготовила ещё вчера, но он, наверное, останется в городе до пятницы, там важные переговоры.

Откуда ты знаешь про пятницу, Марьём? Кто тебе сказал про пятницу? Он позвонил тебе, а не мне?

— Не звонил, — сказала я.

— Ах, мужчины. — Она повернулась, улыбнулась морщинками. — Работа съедает их. Вы потерпите, госпожа. Вы же у нас терпеливая.

Терпеливая. Я смотрела, как её рука ведёт утюг по груди рубашки, там, где сердце Тарика, — и где моего сердца для неё никогда не было, — и вдруг Али сказал, не поднимая головы от тарелки с омлетом:

— Мама, а папа ночует у тёти Дины, да? Мне Саид во дворе сказал. Его отец — садовник.

В столовой стало очень тихо. Утюг на секунду остановился — на одну крошечную секунду, которую заметила только я, — и снова пошёл.

— Дети болтают, госпожа, — мягко сказала Марьём. — Али, ешь. Саид — мальчик дерзкий, не слушай его.

— Дети не болтают, — сказала я. — Дети повторяют. Это взрослые болтают.

Она посмотрела на меня поверх рубашки. Первый раз за восемь лет — прямо, без тёплой складки, на секунду, — и в этой секунде мы обе знали всё: она знала, что я знаю. Я знала, что она знает, что я знаю. Утюг зашипел паром.

— Ваш чай остывает, госпожа, — сказала Марьём.

Я взяла чашку. Руки не дрожали. Чай был с бергамотом.

После завтрака Али догнал меня в галерее, вскарабкался на скамью, чтобы быть со мной одного роста, и сказал серьёзно: «Мама, ты грустная. Я тебе потом отдам свою самую лучшую машинку. Красную. Только не плачь, ладно?» — и я держала его тёплую ладошку в своей и думала: вот он, мой единственный человек в этом дворце, который считает мои слёзы не для отчёта. Пока он рядом — я не сдамся.

А в полдень случилось новое: адъютант свекрови принёс мне конверт с тиснением — приглашение «на семейную беседу с госпожой Рабией» в четверг. Формулировка «семейная беседа» во дворце означает одно: разговор, на котором вам объяснят вашу дальнейшую жизнь. Я держала плотный кремовый конверт и думала: успею ли я до четверга дожить так, чтобы меня ещё можно было объяснять.

Глава 3. Жена по бумагам

Тарик вернулся в пятницу. Вошёл в шестом часу вечера, свежий, пахнущий чужими духами сквозь свой одеколон, с усталой красивой складкой у рта — он умел носить усталость, как пиджак, на размер больше, чтобы все видели, как ему тяжело живётся.

— Злата. — Он бросил портфель на скамью у кровати. — Ты дулась, я вижу по телефону. Не начинай, я без сил.

— Где ты был четыре ночи?

— Город. Переговоры по портовому контракту. Ты знаешь, я не могу обсуждать детали. — Он ослабил галстук, глядя в зеркало, а не на меня. Красивый. Тридцать пять, стройный, глаза тёмные, ленивые. Когда-то я тонула в этих глазах, теперь я в них заглядывала, как в папку: где подделка?

— Тарик. Мне известно, где ты был. Дворцу известно, где ты был. Али сказал за завтраком при няне, где ты был, — и никто за столом даже вилку не уронил.

Он замер с галстуком в руках. Повернулся. И вот что меня убило окончательно — он не побледнел, не разозлился. Он устало вздохнул, как человек, которого наконец-то раскусили и теперь можно не стараться.

— И что ты хочешь услышать? Что я живу с Диной? Половина совета живёт с кем-то. Это не обсуждается, это быт. Наш брак — это титул и ветвь холдинга, Злата. Твоя задача — стол, приёмы, сын. Со всем этим ты справляешься превосходно. — Он сел напротив, положил руки на колени, почти нежно. — Давай по-взрослому. Я предлагаю простую вещь: живём по бумагам. Ты — госпожа, жена наследника, со всем положенным. Я — живу свою жизнь, тихо, без скандалов, дворец не узнает ничего нового. Все так живут. Мама живёт так с отцом тридцать лет.

Все так живут. Тридцать лет. Мадам Рабия тридцать лет живёт «по бумагам» — и теперь её сын протягивает мне тот же контракт, домашний, тёплый, с объедков чужого стола.

— А Али? — спросила я. Голос был чужой, ровный. — Али тоже будет жить «по бумагам»? С отцом-фотографией?

— У Али есть няня, лучшая няня, которую можно купить. — Он даже улыбнулся. — Признаюсь, в этом ты выиграла больше всех. Марьём — золото. Мама вырастила её для нашей семьи.

Выиграла. Я выиграла няню. Няню, которая продаёт мои вторники по строчке за строчкой.

— Я подумаю, — сказала я.

Он кивнул с облегчением — не услышав, не поняв, что «подумаю» не значит «да», — и ушёл в ванную. Вода зашумела. Я сидела на краю нашей огромной кровати, как на краю чужой страны.

Ночью я не спала. В третьем часу встала, накинула халат, пошла к Али — просто постоять в дверях детской, посмотреть, как он спит, как сопит, раскинув ноги, — моё сердце, моё единственное, что во дворце не подписано.

В детской горел ночник. И я услышала. Али забормотал во сне, беспокойно, — и позвал:

— Мама... мама, вода...

А из кресла у кровати поднялась Марьём — она спала в детской, «госпожа, мальчик беспокойный, так спокойнее», — и я услышала, как Али, полуспящий, обнял её за шею и сказал в её плечо:

— Мама, дай воды.

Марьём взяла стакан, напоила его, уложила, погладила по голове — и её рука была тёплой, привычной, — и мой сын уснул. А она подняла глаза и увидела меня в дверях. И ни один мускул на её лице не дрогнул.

— Госпожа, идите спать, — сказала она тихо. — Он часто зовёт. Сонный, он всех зовёт мамой.

Всех. Всех зовёт. Только меня он звал «мама» последний раз днём месяц назад; ночью он звал её.

Я вернулась в спальню. Тарик спал, отвернувшись, безмятежно, человек, которому всё объяснили. Я стояла посреди комнаты и чувствовала, как во мне с щелчком закрывается какая-то дверь — та, за которой восемь лет жила женщина, терпевшая, понимающая, прощающая, «златая госпожа, вы же у нас терпеливая».

Щёлк. Закрылась.

Утром Али прибежал ко мне раньше всех — в пижаме, с растрёпанной головой, влез ко мне на колени прямо в столовой при Марьём, обнял за шею и сказал громко, на весь зал: «Доброе утро, мама. Ты самая красивая на свете». Он никогда не говорил это при няне. Он сказал это сейчас — как будто знал, что мне нужно. Марьём за своим вязанием опустила глаза, и я поняла: даже сквозь её донесения моё утро она отнять не могла.

За завтраком она положила передо мной чай и сказала в своей лучшей тёплой манере:

— Госпожа, господин Тарик вчера был измотан. Мужчины в его положении... вы не принимайте близко. Сердце у господина доброе, просто жизнь у него тяжёлая.

Сердце у господина доброе. Я посмотрела на неё снизу вверх и впервые за восемь лет улыбнулась ей в ответ так же тепло, как она мне. Очень точно, очень ровно, до миллиметра — её собственной улыбкой.

— Спасибо, Марьем. Вы правы. — Я отхлебнула чай. — А вы всегда так хорошо понимаете господина Тарика. Просто по-родному.

Она моргнула. Один раз. И ушла гладить.

В полдень пришло известие, от которого у меня перехватило дыхание: мой архивный пропуск, восемь лет бессрочный, заблокирован «до выяснения». Протокол. Подпись в уведомлении стояла одна: мадам Рабия.

Глава 4. Двери закрываются

Свекровь приняла меня в четверг, как и обещал конверт, — в своём зимнем салоне, где всегда чуть пахнет розовой водой и всегда холодно, потому что мадам Рабия держит окно приоткрытым: «жарко усыпляет ум». Она сидела в кресле прямая, как сложенный зонт, — ей шестьдесят три, и ни одной лишней складки ни на лице, ни на платье. Когда-то её профиль был на юбилейных медалях холдинга.

— Садись, Злата. — Не «дочка». Никогда «дочка». — Я говорила с Тариком. И с Марьём. И с юристами. Ты волнуешься, я вижу. Женщине твоего склада волнение вредит.

Моего склада. Она всегда говорила обо мне как о породе, которую завезли для определённых целей.

— У меня заблокировали архив, госпожа Рабия.

— Временно. — Она сделала рукой мягкое движение, разглаживая воздух. — Архив — это документы холдинга, сердце семьи. Человек взволнованный не должен касаться сердца. Ты переводишь торговые книги — прекрасно, это твоё ремесло, мы ценим твоё ремесло. Но ты неделю не спала, няня говорит. Марьём беспокоится о тебе, как родная.

Марьём беспокоится. Меня чуть не передёрнуло: свекровь цитировала мне мою собственную жизнь, пересказанную доносчицей, — как справку.

— Мне нужна работа. Мне нужен мой пропуск.

— Тебе нужен покой. — Она наконец посмотрела мне в глаза, и взгляд у неё был как очередь к кассе: никаких эмоций, только расчёт. — Я скажу тебе как женщина женщине, потому что ты восемь лет служила этой семье верно. У каждого члена семьи есть время полезности. Время твоей полезности в архиве закончилось. Дальше твоя польза — сын и приёмы. Переводческая уходит, я уже подписала распоряжение: тебя переводят в резерв протокола, без допуска. Кормление, стол, представительство. Через год, полтора — посмотрим.

Посмотрим. Через год, полтора. Она говорила о моей жизни, как о договоре аренды, который не продлевают.

— А если я не соглашусь?

Она сложила руки на коленях — вот теперь я увидела в её лице движение, крошечное, как стрелка часов: моё «не соглашусь» было для неё информацией, а не бунтом.

— Тогда, дитя моё, ты останешься в дворце без работы, без пропуска и без семейного крыла. — Голос её стал ещё мягче, а это было хуже крика. — Крыло после ремонта отдаём Лейле-младшей, она выходит замуж, ей нужно пространство для будущих детей. Тебе с Али готовят флигель у конюшен. Хороший флигель. Просторный. Марьём уже осмотрела, ей нравится.

Флигель у конюшен. Жена наследника — во флигеле. Няня уже осмотрела. Няня всё уже решила за меня — и про мою спальню, и про мой архив, и про мой брак, — я стояла в розовой холодной комнате, и мне было двадцать девять, и я была в чужой стране, в чужой семье, без профессии, без доступа, почти без мужа — и с сыном, который ночью зовёт мамой её.

Я не заплакала. Подарю себе хотя бы это: я не заплакала у неё в салоне. Я встала, попрощалась по форме, как переводчик, — безупречно вежливо, — и вышла.

Переезд во флигель случился через три дня, быстро и буднично: три коробки, шкатулка с двойным дном, Али с машинками. Коробки поставили прямо у стены, потому что в комнатах ещё пахло известью и конюшенной соломой; горничная отыскала для меня чистую простыню, а я сама проверила, закрывается ли окно в детской. Мадам Рабия прислала её вместо Марьём — «Марьём остаётся во дворце, у неё обязанности». То есть мою няню оставили в семейном крыле — как сторожа, как залог, как трофей. Али плакал два вечера, звал её. В первый я не стала запрещать ему: сидела рядом, пока он всхлипывал в подушку, и дала воды, когда он попросил.

Во второй он уже только повторял её имя, всё тише, а я перебирала его машинки и называла каждую, придумывая им новые приключения. Когда он наконец уснул, я поправила одеяло и ещё долго сидела у кровати. Рассказывала ему сказку про русскую девушку и восточный дворец, а сама думала: дно. Это дно. Ниже не бывает.

На третий вечер во флигеле, когда я после ужина мыла единственную свою чашку — в флигеле не было даже постоянной прислуги, «временно», — в дверь тихо постучали. Али, в пижаме, босиком, держал поднос. На подносе — тёплые сырные пирожки из дворцовой кухни, чашка какао, три абрикоса и сложенный вчетверо листок.

— Мама. — Он протянул поднос очень серьёзно, как дипломат верительные грамоты. — Я украл. Ну то есть взял. Саид помог, его отец на кухне работает. Он сказал — матери надо носить еду, это закон.

Я опустилась на колени прямо на пороге и взяла поднос. Тёплые пирожки. Абрикосы. Мой сын, который ночью, сонный, звал няню «мамой», — при мне, за этим подносом, он был полностью мой. И я поняла, глядя на его серьёзное лицо: та, которую он зовёт в полусне, кладёт ему одеяло. А его сердце — вот оно, несёт мне ужин босиком через тёмный двор. Значит, не всё потеряно. Значит, ещё не всё.

— Что за листок?

Он смутился, потом выпрямился: — Это план. Как мы победим. Я нарисовал.

Я развернула. Карандаш, детский нажим: дворец, конюшня, флигель, две фигурки — большая и маленькая, под дружной крышей. И сверху, по верхнему краю, выведенное старательным крупным почерком, каким пишут первые самостоятельные слова: «МАМА И Я».

Я прижала его к себе так, что он захихикал, — и разревелась наконец, в первый раз за всё это время, носом в его макушку, в запах детского шампуня, тихо, чтобы он не слышал. Не над мужем. Не над няней. От того, что во всём этом дворце, где все двери закрываются передо мной, одна маленькая дверь в конюшенный флигель открывается вечером, и в неё стучат ноготками, и несут украденные пирожки.

— Мама, а папа приедет к нам во флигель? — спросил он, уже засыпая.

— Нет, малыш, — сказала я. И, к своему удивлению, голос не дрогнул. — Флигель — наш. Только наш.

А ночью, когда он уснул, я села на кухне, зажгла лампу, открыла свою шкатулку с двойным дном — привет, Марьём, ты ведь доложила про неё в первый же год, — достала оттуда не письма. Оттуда я достала рабочую тетрадь переводчика, которую унесла из архива в последний день, — просто унесла в сумке, по привычке, как берут свою ручку. Шифровальные тетради никто не считал. В тетради — копии расшифровок донесений. Мои. Сделанные моей рукой, до блокировки.

У меня не было пропуска. Но у меня была бумага, почерк и восемь лет профессии, которую «временно» отняли у меня вместе с крылом, столом и мужем.

Я открыла тетрадь на чистой странице и написала первой строчкой: «Кто в этом дворце не в списке свекрови?»

Есть такой человек. Я вспомнила его сразу, хотя он был последним, кого хотелось вспоминать. Глава протокола дворца. Бахтияр. Человек, у которого все ключи.

Глава 5. Человек, у которого все ключи

В архив я попала обманом — скажу честно, обманом, потому что красивее это не назвать. У посудной кладовой флигеля была старая дверь в служебный коридор нижнего яруса, ключ от которой дворцовый слесарь сменил лет пять назад и забыл внести в реестр протокола. Саид, сын садовника, семи лет отроду, доставал мне этот ключ из щели за трубой — «Саид, ты гений», «я знаю, госпожа, все так говорят». Коридор вёл к архивному депо, к третьему шкафу.

Я пошла ночью. Смешно: взрослая женщина, жена наследника, ползёт по своим собственным подвалам, чтобы посмотреть бумаги, которые восемь лет переводила легально. Но пропуска у меня не было, а бумаги — были. В тетради не хватало описи связки. Без описи — номера страниц, реестра, дат подшивки — мои копии не стоили ничего перед советом: «подделка, госпожа вредит сама себе».

Третий шкаф, нижняя полка. Пальцы нашли знакомый кожаный корешок. Я достала связку, расстелила на столе при свете настольной лампы — и услышала за спиной тихий, очень спокойный голос:

— Руки на стол. Медленно. Вы нарушили протокол нижнего яруса, статья девятнадцать.

Я обернулась. Он стоял в проёме — я не слышала ни шагов, ни двери, а он стоял уже давно, я поняла это по его позе, по локтю, небрежно опёршемуся о шкаф: он ждал. Высокий, темнее Тарика, неподвижнее Тарика, в тёмном костюме, в котором не спали и не жили, только правили. Бахтияр ибн Карим, глава протокола дворца. Тридцать восемь лет. Человек, через которого проходят все доступы, все бумаги, все ключи этого дворца. Дворец его боялся ровно в той мере, в какой доверял. Боялся больше.

— Господин Бахтияр. — Я не подняла рук. — Я могу объяснить.

— Вы полезли в архив по служебному ходу с ключом, которого нет в реестре, в два часа ночи, после лишения допуска. — Он оттолкнулся от шкафа, подошёл, взял со стола связку — легко, двумя пальцами, как берут меню. — Объяснение может быть только одно: вы очень торопитесь. Торопящиеся женщины в этом дворце обычно подписывают то, чего не читали. Или ищут то, что им подбросили.

Он смотрел на меня сверху вниз. Глаза тёмные, почти чёрные, и в них не было ни гнева, ни снисходительности — был интерес. Так смотрят на текст с неизвестным шифром: не эмоция, а задача.

— Мне нужна опись этой связки, — сказала я. — Я перевела её содержание. На меня восемь лет писали донесения под моим собственным шифром. И готовили аннулирование моего брака. Я это прочла. Мне нужна опись, чтобы это доказать.

Тишина. Лампа гудела. Где-то капала вода из старых труб.

— Вы понимаете, что я обязан доложить о вторжении? — спросил он ровно.

— Понимаю. Доложите. Но сначала ответьте мне одно. — Сердце у меня колотилось, а голос, на удивление, держался. — Почему вас нет в списке?

Он не шевельнулся. Почти. Только подбородок — на миллиметр, на угол, — но я уже восемь лет читала дворцовые лица по миллиметрам.

— В каком списке, госпожа Злата?

— В списке людей мадам Рабии. Я восемь лет читаю бумаги этого дома. Я знаю, кто чей. Совет — половина её. Протокол — весь её. Вы — не её. Вы — единственный человек во дворце, кто не в её списке. Почему?

Он положил связку обратно на стол. Неторопливо снял пиджак — я невольно отступила на полшага, — повесил его на спинку стула, закатал рукава. На правом запястье — тонкий белый шрам, старый. Он достал из портфеля, который я раньше не заметила, тонкую синюю папку и положил её передо мной на стол, поверх моей связки.

— Потому что я веду собственные списки, — сказал Бахтияр. — Откройте.

Я открыла. Столбцы, цифры, даты. Расходы дворцового хозяйства за шесть лет. Две колонки: «по книгам» и «по факту». Разница — систематическая, растущая, миллионы. И против каждой строки с расхождением — одной рукой, мелким убористым почерком — пометки. Буквы, коды, знакомые до дрожи обороты: «госпоже доложено», «через знакомого менялы», «господину не говорить».

Почерк я узнала раньше, чем дочитала первую строку. «Госпоже доложено». Так писала донесения Марьём.

— Двойная бухгалтерия, — сказал Бахтияр за моей спиной. Спокойно, как протокольную формулировку. — Шесть лет. Ваша няня вела хозяйственные книги дворца и параллельно — вот эти. Через неделю совет затребует ревизию. Я знаю, что найдут. Я не знаю — точнее, не знал до сегодняшнего вечера, — почему все нити сходятся в детскую вашего сына. А теперь вижу по вашему лицу, что вы знаете больше меня. Садитесь, госпожа Злата. Сейчас вы будете рассказывать. Всё.

Я села. Руки у меня наконец-то задрожали — не от страха. От того, что впервые за месяцы напротив меня сидел человек, который не будет пересказывать мои слова мадам Рабии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.